

Ада Самарка

Репка

Сережку Стельмаха знал весь Киев. Еще когда бегал трамвай по крутой тенистой Никольско-Ботанической, его все знали, когда функционировало три овощных магазина в районе Крещатика, – его все знали, знали на Куреневке у «Пингвина» и в сквере неподалеку, в церкви возле дурдома и в самом дурдоме, в парке Шевченко тоже все знали, в художественных мастерских на Андреевском спуске и на улице Перспективной, в подземном переходе под площадь Октябрьской революции знали и махали, приглашая присесть в прокуренном сумраке прямо на асфальт, словом, знали везде – и все звали его Деда. На момент описываемых событий по возрасту он вполне мог быть уже дедом (да и был им, скорее всего, и не один раз, – вести о рожденных при смутных обстоятельствах ни разу не виданных, а ныне выросших и ставших красавицами дочках, периодически долетали из разных уголков мира: последняя, рыжеволосая бестия, точная его копия в женском облики, сообщала, что работает стюардессой), хотя называли его Дедой еще со школьной скамьи, старожилы и ветераны куреневской десятой школы помнят, конечно же, Деду до сих пор. Женат он никогда не был, в женских кругах слыл чудаковатым романтиком, ненадежным, ветреным, с неустойчивым характером и склонностью к депрессиям и маниям. В период маний Деда завязывал знакомства с антикварами, певцами и политиками, ходил в рестораны, запирался в туалетах на открытиях выставок с чужими женами, был бит и бил сам, устраивал пикники на крышах с несовершеннолетними дочерьми дипломатов и министров, лазил через окна и ограды, ломал руки и ноги.

Близкие друзья имеют в арсенале ряд историй про вызволения Деда из милиции и про мучительные недели ракетирской осады в чужих квартирах, когда еду ему спускали с крыши на веревке. Также были истории про советские вытрезвители и подосланных друзей-кагебешников, ночные объяснения в министерских подвалах и странные микропенки, которые он передавал неизвестно с чем и кому. Сколько именно ему лет, тоже никто не знал, но по упоминаниям о подкисшей бетонномонуменальной романтике советских 1960-х, можно было сделать выводы, что Деда уже отнюдь не молод, хотя выглядел он молодцевато-подтянуто благодаря балконному загару с апреля по сентябрь – аж лоснился от мужественной гладкой смуглости, затылок был выбрит, в ухе – серьга, спина как следствие периодических занятий восточными практиками и хорошей наследственной конституции – ровная и широкая, аккуратная пижонистая светлая бородка с проседью казалась просто выцветшей на солнце, глаза прятались за стеклами темных очков, небольшое брюшко – утянутое поясом авторской работы с пряжкой в виде бычьей головы – над его великолепными спортивными длинными ногами в ковбойских сапогах с подбитыми каблуками, делалось почти незаметным.

Деда ездил на не новом, но очень приличном мотоцикле, которого звали Рос, как живого, и который остался от легендарного киевского художника Саши Чукалова, растворившегося за американскими небоскребами в начале двухтысячных. Тогда же, на вечеринке, посвященной открытию украинского круглосуточного музыкального канала, Деда как часть приглашенной фактурной творческой тусовки встретил там давнего приятеля, еврея, бывшего поэта, уехавшего в Израиль и ставшего там, смешно сказать, миллионером. Похлопывая Деду по плечу, тот бывший поэт, морщась, с сигарой во рту (и был он, конечно, в светлых брюках, белой рубашке и в мокасынах) сказал ему: «С тобой, Деда, мы тут такую репку вырастим, что мама не горюй». И спустя десять лет, когда в свете мировых катаклизмов, ненормального природного фона и стремительно тающих на 38-градусной жаре финансовых запасов появился вновь, с условным тендером на

рекламную съемку сока и невероятным бюджетом, цифры от нулей на котором выстроились гигантским опахалом, и в душном мангово-джунглевом головокружении словно мягко дыхнули на Деда, заставляя чуть поежиться на пыльной лавочке у рычащего, задыхающегося в пробке проспекта, куда он присел, чтобы проверить почту в своем айфоне. Условным это тендер был потому, что заказ лежал у Деда в кармане, это было просто так, просто формальность, – и прогуливаясь потом по душному даже вечером кремово-розовому Киеву с зефирным небом над покатыми крышами в спутниковых антеннах, глядя на сногшибательных красоток с оливковой кожей, на высоких каблуках и в светлых коротких одеждах, они с тем другом-миллионером по дороге в ресторан «Кайзерхофф» (напротив синагоги) обсуждали детали съемки так, словно не было никаких других конкурентов.

За свою богатую приключениями жизнь Деда успел поработать много где – закончив мореходку, был и лифтером, и директором кооператива, и проводником пассажирских поездов, и таксистом, но как-то так прикипел в киношно-режиссерской среде, став своим и где-то даже именитым, не сняв притом ни одного фильма. Когда в страну пошли западные капиталы и гранты на культурное развитие, Деда весьма успешно куда-то ездил, что-то организовывал, склеивал и оказывался незаменимым до такой степени, что это, как редко бывает, запоминалось надолго и пересказывалось другим. Тогда, десять лет назад, был очередной успех с фестивальными короткометражками, и друг-миллионер, теперь снова, кстати, в светлых брюках и мокасинах, но уже без сигары, хотя в темных очках, сказал ему, чуть гнусая: «В этой стране профессионалов нет, нет людей, которые могут работать. Тебе я доверяю, Деда». Тем же вечером на прекрасной террасе с креслами в белых льняных чехлах, с видом на строящийся киевский стадион и парусоподобные стеклянные многоэтажки, темно-синие с розовым, был подписан договор и, что Деде казалось сущей фантазмагорией, – выдан чемодан денег со 100% предоплатой.

Времени для воплощения идеи отводилось предостаточно, и проведя все необходимые подготовительные работы по поис-

ку команды исполнителей, забронировав павильон для съемки и купив билет до Праги и обратно (отснятые пленки обрабатывались в другой стране), Деда нагло пристал на улице к одной из тех грациозных див с бронзово-оливковой кожей, в кремовом коротком платье с белым цветком в пышных волосах, получил неожиданно горячий отклик, ей было всего лишь 22, и они улетели в Ялту.

По возвращении симфония счастья, баюкавшая Деду в солнечном аквамарине и ночных огоньках, дышавшая пряным жаром приморских чащ и бесконечным предвкушением еще больших радостей, – зазвучала вдруг приглушеннее. Дела, так удачно организованные, отчего-то отказывались продвигаться самостоятельно – в последний день (а именно один день оставался до отправки еще не снятых пленок в Прагу) стало известно, что реквизиторы немного пересмотрели свои взгляды на предложенный бюджет, а режиссер параллельно участвует еще в одном проекте (ему все время звонили и страшно ругались в обе его трубки, внахлест болтающиеся на нейлоновых шнурках на шее). К вечеру первого и единственного съемочного дня стало ясно, что ничего не будет, – декораторы во время дедового визита в Ялту времени зря не теряли и, в общем, как признались (так и сказали – «Ну, в общем, мы...»), были совершенно не готовы. Художник ответил резонно: «Это они, это не я». Проработав в авральном режиме ночь, днем представили нечто, что нельзя было даже назвать жалким компромиссом, и к Дедовому появлению на съемочной площадке сидели на полу в куче мусора, дремали, причем у одного из них жужжал в руках случайно включенный шуруповерт. В противоположном конце павильона на ящиках из-под аппаратуры разместились команда осветителей – похожие на спецназовцев в камуфляжных костюмах, со шпионскими гарнитурами за ушами, они сосредоточенно играли в игры на телефонах. У Деды, как и у всех вокруг, дико болела голова, ныли плечи, обожженные, облазящие после хмельных и пряных крымских сиест, в павильоне было нечем дышать, и отпустив после девятичасового съемочного дня мальчика, который должен был пить ярко-рыжий миллионерский сок,

и причмокивая, говорить нечто вроде «от нашей репки – здоровье крепко!», Деда понял, что до завтра ему не справиться, и позвонил Элле. «Идите на *уй все», – сказал, откупорив бутылку пива, и почувствовал, что если хоть кто-то сейчас его не послушается, то незамедлительно получит в морду.

«Да, понял... я понял...» – бубнил режиссер в трубку с болезненной уставшей медлительностью, уже даже не прячась, обращившись на Деда, словно не расслышал. «На-уй» – одними губами сказал тогда Деда, коротко и страшно схмурившись, и потом с царственной брезгливостью махнул ему кончиками пальцев, и отпил пива, вытянул ноги в сандалиях с побелевшими от морской соли ногтями на больших пальцах и закрыл глаза.

Элла была давней подругой Деда. Такой древней, что тоже имела в своем арсенале ряд ярко-ностальгических воспоминаний о 1960-х, и даже могла рассказать кое-чего о Дедовых женщинах и детях (чего никогда, к слову, не делала). Когда-то давным-давно, когда улицы назывались иначе, в магазинах пахло оберточной бумагой и пустыми молочными бутылками, по мосту Патона и по улице Саксаганского вовсю ездили трамваи, а по телевизору показывали партийные съезды, у Эллы с Дедой случилась шестинедельная любовь с общим бытом и вполне семейными отношениями, сошедшая, правда, на нет после поездки с палатками на какое-то море, где выкатанные песком с палящим солнцем вскрылись разом все Дедовы неказистости со странностями. Элла, будучи уже тогда прагматично-задумчивой, уверенно стоящей на ногах девушкой из хорошей семьи, приняла мудрое решение с Дедой не расставаться, а просто изъять из отношений плотско-романтическую составляющую. «Мы просто друзья теперь, Деда», – говорила, беря его за щеки и целуя воздух перед самыми губами, но с того отдыха уехала в компании уже совсем другого мужчины.

С тех пор их связывали исключительно рабочие отношения – Элла, когда нужно было, – могла все. И просила за свои организаторско-добытческие способности немало, даже, можно сказать, вызываяще немало, потому Деда какое-то вре-

мя водил пальцем по экрану своего айфона, словно пробуя на ощупь ее имя, высвеченное на визитной карточке. Но девять было некуда.

«Один я эту репку не вытяну», – резюмировал Деда.

Элла приехала тут же, как и ожидалось: двумя машинами, с полной командой и даже ребенком, который словно рожден был, чтобы рекламировать ядовито-оранжевый миллионерский сок. «Где ты его взяла?» – с пьяненькой расслабленной радостью спросил Деда, уступая Элле свое место на подиуме. Она лишь отмахнулась, пристально рассматривая павильон, одним своим взглядом мобилизуя осветителей, отложивших телефоны и привставших в ожидании новых указаний. Элла перемещалась по съёмочной площадке, как по рынку, хрипловатым резким голосом отдавая команды, – рыжая, коренастая, в черном балахоне и лосинах, в молодежных сандалиях с камнями и блестками, с сильно загоревшим одутловатым лицом в морщинах. На едва угадываемой талии у нее висела черная сумка, как те (а вернее, именно та!), что носили в начале девяностых челноки и туристы, на шее болтались дешевые очки в толстой пластмассовой оправе, которые она надевала, чтобы рассмотреть что-то на своем коммуникаторе, и потом скидывала резким движением, и они, дернувшись на красном шнурке, падали ей на грудь.

За три часа из старых декораций с помощью различных лаков, спреев, ленточек и бумажек соорудили нечто фантастическое, усиленное новой световой схемой. Ребенок с пяти дублей выпил сок и расслабленно-с-задоринкой сказал, что от репки здоровье крепко, Деда выпил еще пива и в полудреме наблюдал, как приехавший специалист по наливанию выгружает на стол свои приспособления – колбы, шприцы и клизмы. Осветители приступали к установке света вокруг места, где будет наливаться сок. Все шло идеально. Деду даже разбудили, чтобы сделать «пэк-шот» – статичный кадр с пачкой сока. Во время монтажа все потом улыбнулись, увидев узнаваемую Дедову руку в перстнях с черепами, не очень чистую, ставящую идеально гладкую, яркую, специально для этих целей распечатанную и склеенную пач-

ку, не видевшую никогда никакого сока, на стол, выстеленный искусственной травой и цветами. Потом Деда выпил еще пива и заснул, а проснувшись по нужде, вышел прямо к столу, где шла съемка с наливанием, стукнувшись бедром об угол, сказал: «Ну, всё уже, давайте заканчивать скорее», – все засмеялись и отмахнулись от него. Кто-то из Эллиных ассистентов привез пиццу и еще пива.

Ближе к двум часам ночи Деду разбудили с не очень хорошей новостью – не получалось налить. «У него не получается налить?» – пробормотал Деда, глядя на Эс-Эф-Икса, курящего над столом с клизмами и шприцами. «Нихуя у него не получается, – пробурчала Элла. – И не получится», – добавила, глянув на часы на телефоне. Самолет был в 11 утра.

«Да что же это, мать вашу, да такое – просто налить сок? Все, что осталось, – это тупо налить сок? И мы не можем?!»

«Он не так его наливает, – вздохнула Элла. – Все вообще нахрен не так, не то... я сегодня не приеду, Наташка, блин, уймись, не приеду я, всё!» – последняя реплика была сказана в телефон. «Твою мать...» – Элла закурила, присаживаясь на один из ящиков из-под осветительной аппаратуры. «Она пошла в клуб и оставила ключи дома, пока мать ее по Индиям своим мотается – я за ней смотреть должна, деваха метр восемьдесят, бройлер такой вымахал, пусть бы за мной лучше посмотрела, а не я за ней...»

Через полчаса Элла с Дедой вышли на улицу глотнуть немного свежего воздуха и встретить пятнадцатилетнюю дочку Эллиной дочки (слова «внучка» все тактично избегали).

Она вывалилась из спортивного красного автомобиля – сначала с пассажирского сидения выпали ноги, потом голова с рассыпавшимися белыми кудрями, потом сумочка – прямо на асфальт, потом шея, оголившаяся под прядями, потом спина в глубоком вырезе, потом все как бы подмялось, и сверху торчала тугая острая попа, обтянутая темной тканью в большой белый горох.

– Наташка, сучка! – Элла бросилась к ней, пытаясь отыскать, где руки. – Ну, ты чего стал? Чего стал, я спрашиваю?

А ты, чучело, чего сидишь? – она заглянула в салон и отпрянула – в показавшейся пустоте над приборной панелью неожиданно появились два глаза и улыбка. – Черт тебя возьми, зараза ты такая!

Девушку как-то собрали, поставили на ноги и завели в павильон. Элла бросилась обратно на улицу, к машине, но ее уже и след простыл.

Осветители снова собрались в углу на коробках, сгорбившись над телефонами. Внучку положили на диван, сбросив на пол журналы и бумажные пакеты с крошками. Деда сидел в кресле напротив, безучастно глядя на экран своего айфона, где белый классический циферблат не показывал ничего хорошего. Эс-эф-икс меланхолично позвякивал колбами. На журнальном столике перед Дедой валялись рекламные проспекты с сочными закатами, пляжами, пальмами и кремово-белой, какой-то расслабленно-неаккуратной, словно смачно плюхнутой на бумагу надписью: «Rierkah».

– Ыыыыы, – простонала внучка, переворачиваясь на живот. Платье задралось, снова показывая черную ткань в большой белый горох. – Меня тошнит!

В следующий миг она вскочила, сделала три или четыре уверенных шага в сторону света – к столу с соком и колбами и, подслеповато щурясь, закричала:

– Где здесь туалет?!

Деда закрыл глаза и откинулся на спинку кресла. Элла выскочила из дальнего угла павильона, кто-то из осветителей подал внучке руку, но она неожиданно дернулась и упрямо пошла прямо на стол, сильно стукнулась об угол бедром, взмахнула рукой – и большая трехлитровая колба с соком смачно шмякнулась на пол, разлетаясь стеклом и брызгами.

Деда внимательно смотрел на Эллу. Элла на Деду. Внучка, всхлипывая и шатаясь, ушла куда-то в темноту.

– Вот это было оно, – спокойно сказала Элла.

– Да, – согласился Деда.

– Дикарский такой всплеск, – закуривая, Элла опустила на стульчик рядом с клизмами и колбами, – такой грубый, как будто шла такая корова пьяная типа этой, пьяная от счастья, я имею

в виду, конечно, и сбила нахрен эту банку с соком – ааааа, мол, и ничего страшного, и хорошо, и нам хорошо, да, ты понял?

– Понял.

– Тогда поехали!

Пока Наташка бродила где-то вокруг павильона, выпавший из ее сумочки телефон долго и настойчиво пел голосом Земфиры: «Я искала тебя, в журналах, в кино, среди друзей, и в день когда нашла – с у-у-уума сошла!».

Это звонила Наташкина подруга – студентка второго курса театрального института имени Карпенко-Карого, как она себя называла, «верный пес», и чуть игриво – «слуга всех страждущих», с некрасивым мужским лицом, физически крепкая, будущий режиссер, Женька Скрипник. Ей катастрофически не везло по жизни – первая любовь привела в реанимацию токсикологического отделения. Парень, совсем не такой, как мечталось ей тихими полуднями в кресле у высокого окна за белой шторой, где она провела годы отрочества с книжкой из домашней родительской библиотеки, сказал ей: «Засунь свою любовь себе в жопу». И после выписки пухлые белые руки, крепкая шея в стиле Майоля и Бурделя покрылись татуировками с черепами, коса упала, отсеченная, к ее босым пяткам и, кажется, еще несколько секунд агонизировала и корячилась на полу, в ноздрю был вставлен серебряный гвоздь, а на интернет-форумах и в профильных сообществах она подписывалась коротко и устрашающе: Eug. Что-то было в этой подписи от скандинавских героев-воинов, от гуннов и пиратов – брутальное и дерзкое, как отрыжка. В майке с черепами и костями она ходила в тренажерный зал в подвале гастронома, который любовно называла «качалкой». Там хрипло хихикала с мужчинами, в шутку мутузя их по шее и, затаив дыхание, моментально притихнув вместе с ними, смотрела на новых девушек, останавливающих, бывало, в нерешительности среди тренажеров.

С девушками у Eug. тоже не ладилось: максимум одна-две ночи. «Ты такая хорошая...» – со вздохом говорили ей, улыбаясь над завязываемыми шнурками, озираясь в поисках за-

бытых вещей. Одна из женщин – старше самой Eug. лет на 15, – перед уходом, вместо того чтобы озираться (и в итоге забыла пахнущую сандалом книжку Карлоса Кастанеды), уже в пальто и шляпке протиснулась мимо разложенного дивана к компьютеру и, не присаживаясь на стул с мужской полосатой рубашкой на спинке, открыла сайт весьма однозначного содержания – квадратики с небольшими видеороликами раскатывались скатертью-самобранкой далеко вниз за полосу прокрутки. «Фу, что это?..» – удивилась Eug., а женщина та улыбнулась и сказала, что там на самом деле есть много интересного и полезного.

После прилежного изучения сайта с Eug. произошли некоторые позитивные перемены, и женщины стали задерживаться хотя бы на пару дней. В одном глянцевого журнала даже появилась инспирированная ею статья: «Мода на секс», где речь шла о преимуществах доступности порно и как следствие растущей осведомленности среди населения о неких базовых нюансах поведения (считавшихся ранее прерогативой опытных развратников): вроде эпиляции и обязательного облизывания ладони и пальцев перед контактом с интимными зонами партнерши. Хотя это все почему-то Eug. интересовало мало, и ко второму курсу института она, живя в оставшейся от бабушки однокомнатной квартирке на шестнадцатом этаже с огромным окном на всю стену, позиционировала себя как «старого холостяка».

Откуда взялось прозвище Жучка – достоверно не известно. Но пятнадцатилетняя бестия Наташка, свалившаяся на ее голову чуть ли не в буквальном смысле (подвернула ногу на лестнице в парадном), называла Eug. только так. Наташке нужно было уйти из дома, от матери с бабкой с их любовниками и двойными стандартами (с внучки спрос был абсурдно велик), и тихое соседское холостяцкое гнездо с окном на всю стену подходило как нельзя лучше. Да и родителям спокойнее жилось с осознанием, что единственная дочь «поселилась у подружки». Примерно три недели они жили душа в душу – Наташка перестала пить, готовилась к школе и посещала курсы английского, где в глянцевого

тетрадах с фотографиями Биг-Бена и тестовыми заданиями в квадратиках уже почти не попадалось табачного пепла или того хуже – мелкой зеленоватой пыли с пряно-сладким запахом. Жучка училась на Наташке делать тайский массаж (ходила на курсы) и вечерами все чаще валялись дома – на животах попеременно разложенного дивана, смотрели редкие фестивальные фильмы производства Азии и Великобритании.

Но в какой-то момент Наташке все надоело, опостылело, стало невыносимо жаль «бестолково проходящей юности» (как было написано в личном профиле на «Одноклассниках»), и она отправилась гулять. На третий день загула Жучка открыла настежь окно – в сырую осеннюю ночь, села на стул, вытянув ноги на низкий подоконник, закурила, вспомнила мальчика с лицом, как у принца, и кресло с книжками в старой родительской квартире, и «засунь свою любовь себе в жопу», и гибкое ногастое, словно выкатанное из виноградного сока и кураги Наташкино тело, как чурчхела, извивающееся в полутьме, и написала в своем профиле на «Одноклассниках»: «Сейчас я это сделаю».

Но прежде все же решила еще раз позвонить Наташке. Не говорить ей ничего, просто услышать голос и звонкий смех, рассыпающийся задорными искорками. Но трубку взяла Наташкина бабушка:

– Женя, хорошо, что ты звонишь. Наташа сейчас у меня на работе, ей очень плохо, а я занята по самые помидоры, забери ее отсюда, она мешает. У тебя есть деньги на такси?

– Да, есть, Элла Витальевна, – коротко ответила Жучка, резко встала, закрыла окно, надела свежую футболку с черепами, кеды и, подбросив и поймав связку ключей на цепочке, стремглав убежала из квартиры.

Дело близилось к утру. Небо серело, в сумерках стали прорисовываться очертания подъездов, припаркованных машин, горки на детской площадке. Где-то заскрипел и загудел первый троллейбус. Если бы в городе были петухи, они непременно начали бы кричать в это время. В съёмочном павильоне окон не было, и там продолжался вчерашний вечер – Элла с ко-

мандой осветителей пыталась выплеснуть сок из банки на белую клеенку, Деда смотрел на монитор рядом с камерой и качал головой.

Жучка села на край дивана, где спала, свернувшись калачиком, Наташка, стараясь не улыбаться, гладила ее по рассыпавшимся волосам. Потом, вздохнув, пошла к монтажному столу.

– Привет, мужики.

Осветители коротко кивнули в ответ, кто-то протянул руку для приветствия. Жучка смотрела на разлитый сок, на колбы с клизмами и, качая головой, спросила, со знанием дела:

– Что, налить не получается?

Ей ответили уставшим стоном.

Закусив сигарету и прищурившись, Жучка взяла канистру с соком, поболтала ее, потом прошипела, не размыкая губ:

– Дайте я...

Тем временем на улице Овруческой, что на Курневке, в одном из старых сталинских домов на горке среди парковых деревьев, в заросших палисадниках, с последней погасшей звездой на посеревшем небосводе вдова режиссера Мышина кормила котов. Она жила одна, без детей, уже тридцатый год, – проводив в последний путь недопризнанного, недоработавшего, недоотличившегося мужа, стала ходить в Покровский монастырь, кормить котов, собак и голубей, в сонные городские сиесты из распахнутого в березы кухонного окна лились умиротворяющие голоса радиоточки, а вечерами ложилась спать рано – с первыми сумерками. Вставала старуха Мышина тоже рано – скреблась тихонько со своими крошками для птиц, выходила в рассветных сумерках с парой кульков с какими-то помоями, которые брала неведомо где, и раздавала сонным потягивающимся котам у мусорных баков. Затем рассеянно, пока коты ели, исследовала мусорные баки, и если там находилось чего – абажур, вязаная салфетка, красивый календарь, интересная баночка, – несла к себе домой, на балкон. На балконе у нее жили тараканы и сверчок. Перед заутренней, если вставала совсем рано, – шла на работу: убирать на киностудии, где прошла вся ее жизнь. При муже старуха Мы-

шина начинала помощником режиссера – в гостиной над серой сиротской постелькой с продавленным матрасом висела фотография под обсиженным мухами пыльным стеклом – бордатого мужчины с кинокамерой и хрупкой блондинки с высоким лбом и в полосатой кофточке. Потом ее брали помощником декоратора, потом просто помощником, – но дела не получалось. В ответственный момент вдова Мышина просто уходила со съемочной площадки и, обнаруженная на соседней помойке в обществе котов и лишайных псов, недоумевала, почему к ней прицепились. У нее была эта кроткая манера принимать любую критику: она рассеянно кивала и говорила тоненьким голоском, опустив глаза и пряча руки: «Мне правда очень жаль, что так получилось...».

Тем утром она тихонько прошмыгнула в съемочный павильон, прошелестела сумками с мусорными трофеями, пару раз грохотнула ведром со шваброй.

Увидев ее, Деда откинулся на диван, закрыв лицо руками. Над бычьей головой задралась майка и показался волосатый загоревший живот.

– А чего это вы тут делаете? – спросила старуха Мышина, заглядывая на монтажный стол, пытаясь понять, имеет ли смысл убирать сейчас – или вернуться позже. Позже не хотелось бы – в церкви была служба на весь день.

– Ай! – отмахнулись осветители.

– А давай, бабка, налей! – усмехнулась Жучка, протягивая ей канистру с соком.

– Чего налить?

– Да отстань ты, – Элла просматривала отснятые за ночь кадры с цифровой камеры и качала головой. – Как сглазили просто... все идеально до сих пор. Деда, а пленки можно везти не все? А только без налития?

– А смысл... – ответил, не убирая рук с лица, Деда.

– Так, а что налить-то? – оживилась вдова Мышина.

– Сок налить. В рекламу. Сок. Чтобы был, как будто его шмякнули вот так...

– Аааа, – старуха заулыбалась. – А мой покойный Вячеслав Яковлевич в свой фильм про Днепрогэс тоже так воду наливал,

ох и намучились мы, но знаете, в Италии ведь фильм приз взял! И, говорят, из-за этой сцены. Знаете, как он сделал?

Она взяла ведро, которое несла, чтобы мыть пол, вылила в него сок из канистры, потом отлила примерно литр в банку и протянула Жучке.

– Нужно, чтобы все сразу лили со всех сторон. А я из ведра грохну в конце.

Деда приподнялся.

Вдова Мышина наливала следующую банку и протягивала Элле.

– Давайте, Вячеслав Яковлевич же сцену с Днепрогэсом так снимал!

Когда все были готовы, оператор махнул рукой, и струи одинаковой жидкости, но подсвеченные чуть по-разному, с задержкой в полсекунды обрушились в специальную миску.

Через час все разъехались по домам. Город только начинал просыпаться. В такси пело радио, без новостей и рекламы, и некоторые светофоры еще не работали – моргали рыжим. Редкие прохожие спешили, ежась от холода, – приближалась настоящая осень. Прохладное солнце смывало с улиц остатки ночи. Прощаясь на этаже, Жучка под руки завела Наташку к себе домой, и Элла, приняв это как само собой разумеющееся, лишь коротко кивнула ей, думая о чем-то своем.

Этим же вечером проявленные пленки были продемонстрированы на широком экране и, гуляя по Праге, Деда случайно обнял Эллу за талию и притянув к себе, поцеловал в ухо, и она, замечтавшись, попав как раз в зону, где на узенькой мостовой под соприкасающимися балконами старинных домов умопомрачительно пахло жареными колбасками, ответила на поцелуй. В ту же ночь они съехались в один гостиничный номер.

По возвращении в Киев Деда решил отблагодарить старуху Мышину и приехал к ней домой с продуктовым пайком и альбомом про кино в СССР, где была фотография ее мужа. За разговором выяснилось, что у покойного Вячеслава Яковлевича есть сестра, которая живет в Израиле. Раздобыв телефон сестры, Деда

утвердился в своем безумном решении – и в гости к миллионеру они летели все вместе: с влюбленными Наташкой, Eug., а также со старухой.

Все недоумевали, зачем она ему там, а Деда рассказывал потом, мечтательно улыбаясь:

– Вы ничего не понимаете – она все дни просидела на пляже, ни с кем не общалась и кормила чаек.

Киев

